ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРА

Интервью с А. Битовым,
И. Золотусским,
Ф. Искандером, В. Лакшиным,
И. Роднянской

Философия является органической частью культуры. Ее развитие непредставимо без взаимосвязи с искусством, наукой — со всем спектром видов общественного сознания. История философии, в саму задачу которой входит связь многообразия духовного опыта в осмысленное единство, тем более тесно соприкасается с жизнью культуры. Исходя из этого, редколлегия ежегодника будет стремиться к освещению места истории философии в сознании современного общества, к прояснению тех путей, которыми наследие философии приходит (или не приходит) к участию в культурном процессе. Один из способов такого прояснения — дать слово самим деятелям культуры, узнать их непосредственное отношение к истории философии — как к современной науке, и как к опыту мировой философской мысли.

Писателям и критикам, мнения которых представлены на этих страницах, редколлегия задавала вопрос, который при всем различии его формулировок можно свести к следующему: «Ваше отношение к истории философии как 2500-летней духовной сокровищнице человечества, как элементу сегодняшней культурной жизни, как элементу Вашего творчества?».

Редколлегия глубоко признательна литераторам, ответившим на ее вопрос, и намеревается продолжить беседы и интервью с деятелями культуры в следующих выпусках.

Андрей Битов: Мои 50 относятся к этим 2500, как один к 50. Скорее всего в такой же пропорции я овладел этой «сокровищницей». Я вполне, разделил свой опыт и знания с моим поколением, моим временем, моей страной. И опыт относился к знанию, как 50 к одному. И не было по этому поводу переживания, потому что не было и представления. Все мы автоматически «вещали творение» и находились на вершине всех человеческих знаний; мы были одновременно «зарею человечества»: вся эта «сокровищница» лишь подготовила наше рождение, для чего и потребовалось все это 2500-летие. Отношение к знанию, таким

образом, было *снисходительным*: то был закат и тупик, кабы не наш восход и светлый путь,— никто и не намеревался сходить с вершины к подножию. Там сгущался мрак первобытных, примитивных, идеалистических и прочих представлений вплоть до «мрака средневековья», освещенного лишь костром мучеников.

Впервые некий философский текст я осилил, с большим удивлением и восторгом (более к самому себе: что я на это способен...), в 22 года — это было послесловие Л. Толстого к «Войне и миру», в школе неизбежно пропущенное. Эти его «заблуждения» поразили меня естественностью и живостью. Я, однако, не хлынул в приоткрывшуюся щель и никак ее не расширил, потому что уже *сам писал* и предпочел не сбивать себя с толку, не смущать открывавшуюся мне картину мира, якобы ясную и прозрачную, данную мне «в ощущении». Таким образом, пропуская мир сквозь опыт, еще пятилетку спустя, мне довелось впервые открыть Новый завет. Я был удивлен, до какой степени я его *уже знал*. Не менее я был потрясен мыслью о том, что мог бы многое знать и *до опыта*.

Было в этом, однако, и своего рода историческое достижение — до такой уж степени ничего не знать. Эта философическая невинность, tabula rasa, «никелированный нуль отсчета» (геодезическая терминология, привилегия моего геологического образования). Конечное знание мудреца о том, что он ничего не знает, было нам дано сразу, правда, без столь глубокого осознания; для того, чтобы достичь высшего состояния пустоты и немоты, нам не требовалось усилий медитации. Переход от примитива представлений к их *элементарности* содержал в себе переживание ЗНАНИЯ, пусть когда-то и давно пройденного, но зато, как *в первый раз* — новорожденный творческий потенциал, избыток энергии. Всё впервые: любовь, смерть... — будто до нас и не было никого.

Приоткрывалась, со временем, и возможность «открывать» гениев, в самом неожиданном порядке: то Паскаль, то Платон, то Розанов, то Кришнамурти... Бессистемность компенсировалась ощущением, что берешь только «свое». Неведомое теперь не просто отсутствовало, а становилось *чужим*. Мы продолжали оставаться «на вершине знаний». Книги скорее обнюхивались, чем прочитывались. Знание подменялось чутьем; эрудиция — на слух, на имя, на запах — необыкновенно возросла, вполне ее заменяя. Модно стало недолюбливать экзистенциалистов или Фрейда с полным основанием, ни разу в них не заглядывая. Ниспровержение или возведение кумиров производилось заочно.

Однако, вот так наглотавшись разреженного воздуха культуры, иные из нас достигли достаточно самостоятельных результатов, а главное, *прожили жизнь*, с чем уже трудно не посчитаться. Догадка о культуре произошла. Это не мало.

Страшнее догадка о пропущенном образовании. Меня она настигла окончательно и теперь сковывает своей непоправи-

мостью. Мне кажется, я постиг десятка два книжек, преимущественно художественных, и десяток кинофильмов. Для писателя, имеющего репутацию философического, по-видимому, недостаточно. Это сейчас я имею представление о том, что бы мне следовало знать с самого начала, ДО опыта, ДО писательства. Представление достаточно точное, но незнание — уже окончательное. Мне не хватает классического образования. Пользуясь терминологией заочно нелюбимого Фрейда, это мой комплекс.

Но жизнь индивидуума — есть однократный опыт. Он не может быть повторен. Условия опыта не могут быть воспроизведены. И что бы это было, если бы было — лучше или хуже? — гадать нет смысла.

Зато мысль и образ для меня нераздельны. Я не отделю знание от чувства. «Нечто» я чувствую, а не вывожу логически. И мысль есть высший образ этого чувства.

Почему сегодня литература берет на себя функции мировоззрения, тогда как философии все меньше удается стать мировоззрением для не-философа? Почему современная философия часто заимствует художественный способ осмысления реальности, а литература обретает мировоззренческий характер?

Дело, по-видимому, не только в изоляции, не только в занавесе, не только в оторванности мировой культуры, не только и в невежестве. Процессы кажутся самостоятельными, сосуды — несообщающимися. Процессы окажутся подобными, параллельные пересекутся, сосуды сообщатся.

Не знаю, как в остальном мире, но в русской культуре с самого начала ее мирового внутри себя состояния (с Пушкина) это было только так: мировоззренческий характер художественной литературы и художественный — философской. Мысль и не мыслилась вне художественно преображенного слова. Придя позже, мы оказались дальше: менее дискретны, более синтетичны. Кстати, это был единственный способ избежать почти неизбежной эклектичности молодой культуры. В этом движении обобщения мысли и художественного слова, возможно, и осуществился наш вклад в мировую культуру, с которым мы опоздали (сетования Чаадаева). И может, не только по невежеству, но и по принадлежности русской культуре, я обнаруживаю некоторую неспособность к усвоению систем и методологий. Я всегда предпочту в культуре вещи, которые не учат меня понимать, а толкают думать. Свобода, предоставляемая мне искусством, не предоставляется мне наукой в том случае, если и наука — не то же самое искусство.

И если русская литература XIX в. вошла в мировое сознание, то русская философия со своим художественным мышлением не вошла еще и в отечественное: поначалу не была и признана за философию, а потом была забыта как недефицитный антиквариат. Между тем, вполне возможно, что именно сегодня, к концу XX-го, уже пробил ее час, хотя это почти никак еще не подтверждается.

Общая тенденция гуманитаризации человеческого знания (тоже более назревшая, нежели проявленная) наблюдается уже и в науках точных, где потребность культурного, обобщающего взгляда, почти что на популярном уровне, стала потребностью узких специалистов, условием дальнейшего развития науки. Сейчас видно, что специализация, столь, казалось бы, ускорившая наш прогресс, по сути дела, почти поссорила человека с миром, раздробив его, отделив человека от природы. Этот торжествующий от имени человека союз «И» тому доказательство: человек и природа, человек и космос, человек и закон, человек и общество, человек и — все остальное,— союз этот из соединительного давно стал разъединительным. Потребность обобщающего, культурного и философского, взгляда на жизнь стала насущной для человека.

Поэтому задачи, стоящие сейчас перед культурой и философией, практически одни и те же — выработка целостного взгляда на мир, на жизнь, на феномен человека в жизни и в мире. И тут русская культура — надежная опора. Какими бы утопическими ни казались идеи Н. Федорова или Д. Андреева профессионалу или просто так называемому здравомыслящему человеку, именно эти идеи, как это ни странно, «*работают*» в нашем мире, открывая, а не закрывая перспективу человека в нем. И современный гуманитарий должен первым перешагнуть собственное тщеславие и не столько пытаться навязать людям следующую систему, аннексирующую на десятилетия человеческое сознание, сколько *послужить* общему делу.

Молодые мозги должны начинать с того, к чему пришли самые далекие, самые одухотворенные умы. Их способность к абстракции гораздо выше, чем эксплуатируемая с детства запоминательная, подражательная, кибернетическая способность. Я вижу как выход именно начальные курсы в младших классах: языкознания, философии, экологии. Надо преподать цельный взгляд на мир — он не удел великого академика в конце пути, не мысли на досуге.

Жаль, не вернуть традицию классических гимназий, но важно облегчить ребенку задачу обучения родному языку, заменить зубрежку правил постижением, облегчить и обучение языкам иностранным. А с этим у нас такая беда! Кстати, и обеднение нашего русского — в огромной степени следствие разобщения с другими языками. Кому под силу такая задача? Аверинцеву, Гаспарову, Иванову? Но написать такой учебник было бы национальным подвигом, напоминающим нам кое-что из отечественных традиций, связанных с именами Даля или Афанасьева. К сожалению, такой учебник был бы более понятен детям, чем учителям.

Такая мечта полностью относится и к истории философии, которая с первых шагов пыталась постичь именно целое, а не его части. Обучив человека в молодости молодой мысли человечества, мы могли бы надеяться, что он не запамятует в зрелости чувство единого и целого, столь необходимое нам сегодня.

Игорь Золотусский: В своих работах, так или иначе касавшихся вопросов философии, я никогда не обращался к трудам философов, может быть, потому, что чистая философия, философия разума всегда была недоступна мне, трудна для понимания. Приходилось в большинстве случаев полагаться на чувство, на интуицию, на философские возможности художественного образа. В этом смысле ближе всего мне русская философия, выросшая из русской литературы.

Когда я писал книгу «Фауст и физики», то труды физиков, как, впрочем, и трагедия Гёте, заменяли мне труды философов, когда позже пришлось перейти к творчеству Достоевского, то Ветхий и Новый завет, а также сочинения Ницше и Бердяева, читанные без системы и по внутреннему побуждению, определили круг моих философских интересов. Кроме того, я невольно имел перед собой точку зрения М. Бахтина, которого считаю не столько литературоведом, сколько философом.

Если присоединить к этим источникам Шеллинга, Гегеля и Канта, труды которых ложились на мой письменный стол от случая к случаю, то это и будет моей школой философии. Сейчас читаю Н. Федорова и Августина Блаженного.

Что же касается нынешнего дня, то не могу не согласиться с Генри Торо, который более ста лет назад сказал: у нас сейчас есть профессора философии, но философов нет.

Фазиль Искандер: Изучение истории философии прежде всего необходимо самим философам. Но также и каждому культурному человеку, который хочет знать историю мысли. С тех пор как человек осознал себя в этом мире и попытался понять, что этот мир из себя представляет, он выработал два взгляда на мир: идеалистический и материалистический. В истории философии обе точки зрения должны быть представлены абсолютно объективно, в их высших проявлениях. То есть философ должен изучаться в зависимости от уровня его теоретической аргументации, уровня ума и таланта, с которыми он отстаивает свою точку зрения.

До самого последнего времени философам-идеалистам у нас уделялось слишком мало внимания при изучении истории философии, многообразие и сложность их аргументации упрощались. От этого страдала прежде всего сама материалистическая мысль. Упрощая духовного противника, она обязательно упрощалась и оглуплялась сама. Только в живой борьбе с самыми высокими и сильными проявлениями идеалистической мысли материалистическая мысль может проявить свое богатство и глубину. В этом, по-моему, диалектика подхода к проблеме изложения и изучения истории философии.

Владимир Лакшин: Об истории философии я могу сказать то же, что кто-то сказал о Спинозе: «Я прочел лишь половину его книги. Понял я тоже лишь половину. Но то, что я понял, было прекрасно». Если же говорить серьезнее, то я всегда рад, когда встреча-

ется значительная, богатая интересными идеями книга по истории философии.

Тем более это относится к философской классике. Многое в свое время дало мне знакомство с учениями Платона, Канта, Гегеля. Кант, пожалуй, оказался наиболее близким мыслителем.

Когда-то я написал статью о необычной судьбе одной книги, посвященной Френсису Бэкону *. Изложение жизни и учения Бэкона, сделанное английским литератором, принадлежавшим к кругу оппозиционера Болинброка, и пронизанное тираноборческими и просветительскими идеями, было замечено во Франции и переведено французским литератором круга энциклопедистов, насытившим перевод идеями «либертинажа» и материалистов-просветителей. Четыре года спустя французский вариант был переведен и издан В. К. Тредиаковским, который ухитрился отразить в своем переводе черты русской действительности и дать антидеспотический «урок» Елизавете Петровне. Пожалуй, это была первая русская книга, представившая в отраженной форме теории французских просветителей. Интересна книга и попытками Тредиаковского переосмыслить на отечественный лад западные философские понятия. Таковы были необычные пути, которыми идеи Бэкона вливались в поток умственного развития России.

С тех пор, правда, я понял, что тезис Бэкона «знание — сила» нуждается в дополнении. Незнание — тоже сила. Страшная, разрушительная сила.

Ирина Роднянская: История философии — это, можно сказать, сама философия. Как не называем мы литературой только текущую и не относим прошлую к некоему краткому введению в литературное сегодня, так же и философию минувших веков (равно и глубокие книги о ней) нельзя ставить в неравноправное положение с нынешним философствованием. Каждая серьезная философская инициатива своей неувядающей новизной схожа с «вечными ценностями» искусства — азбучная истина, указывающая на близость философии к этому последнему и на ее отличие от так называемых положительных наук и их методов.

Всякий пишущий человек, литератор, философствует, ибо инстинктивно стремится добраться до основания своих воззрений или суждений, нащупать ногою твердое дно. А раз все мы волей-неволей вовлечены в философское искание, то Платон, Августин, Шеллинг, Гегель, Ницше, Камю (я нарочно называю разнородные имена) оказываются нашими старшими сподвижниками по захватывающему усилию «дойти до самой сути» (как сказал поэт). Каковы бы ни были их выводы, следовать за ними — значит учиться независимой и ответственной мысли, не движимой ничем иным, кроме исходной интуиции и жажды истины. Тот, кто

---

* См.: *Лакшин В. Я.* Биография книги. М., 1979. С. 5—71.

читал старых философов, не мог не заметить их готовности к этому мыслительному подвигу и не спросить себя: а готов ли ты?

Что касается области моих прямых литературных занятий — критики, я полагаю, что критика обязана быть философской: не будучи хоть как-то ориентирована на «последние», смысловые вопросы бытия, она становится либо прагматической, либо формальной, либо вкусовой. О себе скажу, что, если бы не полоса увлечения философией, в особенности русской философией прошлого века, у меня давно пропал бы интерес к своему ремеслу; мои литературные выступления представлялись бы мне разрозненными и случайными, я не могла бы сама перед собой отчитаться в их внутренней связи друг с другом...